

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Сегодня мне сорок лет[1]. Помню, ровно двадцать лет тому назад я, точно так же, как и теперь, сидел дома – и вдруг кто-то позвонился в мою квартиру.

– Пожалуйте, ваше благородие! лошади готовы! – сказал, входя, унтер-офицер.

– Что такое? куда? зачем?

Он назвал мне одну из далеких северных трущоб, о которой никак нельзя было сказать, чтобы там росли апельсины.

Мне очень не хотелось ехать, но я поехал. Дети! когда вы умудритесь, то поймете, что иногда слово «не хочу» совершенно естественно превращается в «хочу» и что человек, существо разумно-свободное, есть в то же время и существо, наиболее способное совершать такие движения, которые совершенно противоположны самым близким его интересам.

В то время я был очень добронравный, скромный и безобидный молодой человек. Я мечтал о «счастье», но не повторял вместе с Баратынским:

«О счастье с младенчества тоскую,
Все счастьем беден я...»[2], –

а был счастлив действительно. В том полуфантастическом, но прекрасном и светлом мире, в котором я жил, не было ни станowych, ни квартальных, ни исправников, ни даже губернаторов. То есть не было именно тех станций, на которых слишком рассказавшееся «счастье» обязано останавливаться и поверять себя, действительно ли оно «счастье», а не посягательство, не безумие и не злоумышление. Впоследствии опытные люди удостоверили меня, что идея о «счастье» может по временам оказываться равносильною злодейству, но тогда я ничего этого не понимал. Сказанные выше станции казались мне какими-то туманными точками, при встрече с которыми внимание мое скользило, как будто бы их совсем и не было. Я помню: я уже был тогда на службе и даже писал бумаги, но впечатление, которое оставило во мне это писание, было чисто механическое, или, лучше сказать, меня занимало не содержание бумаг, а те неведомые мне, полуфантастические личности, к которым они были адресованы. Живо представляется мне некоторый Григорий Козмич, которого фигура, как живая, стояла всегда перед моими глазами, фигура маленькая, с армянским типом, с длинным, согнутым крючком носом, с очками на глазах (в то время я его и в глаза не видал, но впоследствии, когда мне на него указали, он действительно оказался точь-в-точь таким, каким рисовало его мое воображение)...

Милостивый Государь

Григорий Козмич!

писал я к нему ежедневно и постоянно заканчивал мое писание словами: «С истинным почтением и совершенною преданностью имею честь быть» и проч. О чем я ему писал, в том я и доныне не могу дать себе отчета, но помню, что мой добрый начальник отделения нередко призывал меня к своему столу и разъяснял, в каких случаях следует писать: «о последующем прошу не оставить меня уведомлением», и в каких – «об оказавшемся имею честь покорнейше просить почтить меня уведомлением». Середины, которая несомненно существовала между «милостивым государем» и «совершенным моим почтением», я никак не мог себе усвоить; она улетучивалась, как улетучивается сон, немедленно, вслед за пробуждением. Повторяю: я жил не лично, а какой-то общею жизнью, которая со всех сторон так и плыла и плыла на меня, так и затопляла своим светом, теплом и гармонией.

Так было и в ту минуту, когда добродушный унтер-офицер объявил мне, что необходимо ехать в отдаленную северную трущобу. Я ничего не понял, кроме того: кому и на что надобно, чтоб я ехал? А так как разрешения на этот вопрос не могло

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
быть, то я машинально оделся, машинально вышел из квартиры и машинально же сел в тарантас. Я помню, что я не спросил даже, что это за трущоба и на слиянии каких именно рек она находится...

Дети! если вам случится встретиться на улице с русским унтер-офицером, спешите снять шапку и поклониться ему! Знайте, что это добрейшее и благороднейшее существо в целом мире, что это неиссякаемый источник незлобивости, нежной предупредительности и всяческого унтер-офицерского баловства!

По мере того как городской шум заглушается стуком колес тарантаса, по мере того как остаются позади городские здания, суровые глаза унтер-офицера, везущего вас в трущобу, смягчаются, а густые, преднамеренно нахмуренные брови постепенно разглаживаются, делаются обыкновенными, редковолосыми бровями, приличествующими всякому человеку, не натеревшему в ремесле театрального разбойника. Если в городе вы еще носили в глазах его характер казенной поклажи, то тут, на лоне загородной природы, в виду уходящей в безграничную даль почтовой дороги, характер этот исчезает совершенно. Вы становитесь просто несчастным, вы делаетесь заблудшею, но все еще дорогою, все еще желанною овцою, для которой охотно отверзаются все сокровища заботливого унтер-офицерского сердца!

Я не шутя говорю: если за доблести и военную опытность признается справедливым постепенно производить из унтер-офицеров в генералы, то было бы столь же справедливо за благодушие и сердечную мягкость с тою же постепенностью производить из генералов в унтер-офицеры.

Я помню, как мы приехали в Шлюссельбург, или, по местному названию, Шлюшин, и как расходившееся Ладожское озеро заглушало не только говор, но даже крик наш. Я помню, как около «Сяссских Рядков» сломалась подушка у нашего тарантаса и мы вынуждены были остановиться часа на два, чтоб сделать новую; как станционный писарь смотрел на меня, покуда мы пили чай, и наконец сказал:

– Да, нынче «несчастных» довольно провозят!

Я помню, как мы приехали в недавно выгоревшую тогда Кострому; с каким остолбенением рассказывали нам о бывшем там пожаре; я помню, как мы перевалились наконец за Макарьев (на Унже), как пошли там какие-то дикие люди, которые на вопрос: нет ли что поесть? – отвечали: – сами один раз в неделю печку топим! Помню леса, леса, леса...

Помню, что когда мы въехали в эту непросветную лесную полосу, я как будто от сна очнулся, и в голове моей ясно мелькнула мысль: да! это так! Это иначе и быть не должно! Одной этой мысли достаточно было, чтоб я вышел из моего нравственного оцепенения и понял мое положение во всем его объеме.

Я понял, что все это не сон. Что я сижу в тарантасе, что передо мной дорога, по которой куда-то меня везут, что под дугой заливается колокольчик, что правая пристяжная скачет и вскидывает комьями грязи... Не таинственным миром чудес глянули на меня леса макарьевские и ветлужские, а какую-то неприветливою пошло-отрезвляющею правдою будничной жизни.

– Что это, ваше высокоблагородие, уж не плакать ли выдумали! – утешал меня добрейший мой спутник, – а посмотрите-ка, птицы-то, птицы-то в лесу сколько! а рыбы-то в реках – даже дна от множества не видать.

Но, несмотря на это, я продолжал плакать. Мне казалось, что здесь, на этом рубеже, я навсегда покинул здание мысли, любви и счастья, к которому так безрасчетливо привязалось мое молодое воображение, и что затем я уже бесповоротно вступаю в область рябчиков, налимов и окуней.

Я давно простил. Быть может, мне скажут, что с моей стороны очень смешно изрекать прощение, которого никто не добивается, о котором никто не думает. Я знаю: действительно, никто не добивается, никто не думает, и тем не менее факт прощения – совсем не претензия, а право. Это сладчайшее из всех прав человеческого сердца; это право, возникающее само собой, помимо всяких соображений об его уместности или неуместности.

Но есть обида, которая и донныне дает мне чувствовать себя. Этой обидой я называю

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru ту сердечную робость, ту потребность примирения, которые, как вор, прокрались в мое существование. С той минуты, как я перешел за рубеж, с той минуты, как я в первый раз сказал себе: да! это так! это иначе и не должно быть! – эта мысль с течением времени до того укоренилась во мне, что никакая неожиданность уже не кажется мне неожиданностью и слово «сюрприз» потеряло для меня всякое обаяние. Я сознаю всю тусклость и невразумительность этих немногих слов, и в то же время не могу найти иных, которые полнее объясняли бы то, что подчас кажется человеку непонятным или неудовлетворительным.

Я совсем не хочу сказать этим, что человек имеет право проходить мимо тех или других явлений жизни, не ощутив по поводу их чувства радости или огорчения, чтоб он был прав, ограничиваясь одним объяснением их; я говорю одно: бывают такие печальные моменты в истории личного человеческого развития, когда человек доходит до уразумения целого порядка явлений, которым можно только подчиниться, по поводу которых не остается ничего другого, как только махнуть рукою.

Очень трудно считать явление неясным или незаслуживающим внимания по одному только, что оно в самом деле неясно и внимания не заслуживает. Бывают истины совершенно невнятные, но по поводу которых в человеческом уме возникает вполне определенное и притом очень рельефное представление. Нам очень часто говорят: «Не твое дело!», и хотя при этом не объясняют или объясняют с значительными недомолвками, почему известное дело не наше, тем не менее мы не можем не понять, что выражение «не твое дело!» совсем не равносильно выражению «твое дело!» и что к исполнению преподается не первое, а второе. И благо нам, если мы покоримся этой невнятной истине машинально, с зажмуренными глазами; благо нам, если мы не захотим понять более.

Если мы захотим понять более, для нас уже недостаточно будет ломать многострадальные наши головы над тем или другим словом, над тем или другим происшествием. Нам надобно будет вступить в область более обширную, в ту область, из которой исходят все наши жизненные неясности и в которой совершенно естественно укладываются все эти «не твое дело», «не трогай», «не рассуждай», «не моги», подливающие столько горечи в существование человека, застигнутого ими врасплох. Желательно ли было бы для нас слишком беспрепятственное проникновение в эту область?

Прежде всего нельзя сказать, чтоб доступ в эту область сам по себе был легок и чтоб дверь в нее отпиралась настежь перед всяким, кто желает войти в нее. Область, о которой я говорю, – это сама жизнь, не украшенная цветами, не расцвеченная флагами, но жизнь строгая, исторически сложившаяся, спутанная.

Но и помимо той трудности, с которою дается нам эта темная область, спросим себя, что, в сущности, мы приобретаем, проникнув в нее? Мы приобретаем убеждение, что в жизни нет того противоречия, которое не было бы строго согласовано с другими противоречиями, нет той горькой неправды, которая не объяснялась бы неправдою еще горчайшею. Наконец, мы приобретаем способность ничем не возмущаться, ни перед чем не раскрывать удивленных глаз. Можно ли, по совести, назвать такие приобретения драгоценными?

В этой нескончаемой сети неправд и противоречий человеческая личность сглаживается и исчезает. Петр, Иван, Андрей, Яков – все это не больше, как неясно намеченные точки, которые не свидетельствуют ни за, ни против чего бы то ни было, которые не могут служить ни доказательством, ни опровержением. Встает целый порядок, целый строй, который захватывает и правых и виноватых, и преследующих и преследуемых, и гонителей и гонимых, и при виде которого не придет даже на мысль протянуть руку помощи тому или другому Петру, тому или другому Ивану, потому что тут нет ни одного Петра, нет ни одного Ивана, который бы не нуждался в помощи.

Я знаю, многие называют подобные моменты человеческого развития моментами примирения, моментами разумного и трезвого созерцания жизни. Я, с своей стороны, нахожу, что их гораздо приличнее назвать моментами полнейшего индифферентизма и сердечной вялости.

Того ли нам нужно? из того ли обязаны мы биться, чтобы в конце концов получить печальное право с полною душевною невозмутимостью объяснять и оправдывать всякое жизненное противоречие, всякую жизненную неправду?

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Нет, говоря по совести, в этом дряблом стремлении к всеоправданию именно и заключается та кровавая обида, которая наносится человеку жизнью и о которой я говорил выше. Жизнь, лишенная энтузиазма, жизнь, не допускающая ни увлечений, ни преувеличений, есть именно та постылая жизнь, которая способна только мерить и сводить итоги прошлого, но совершенно бессильна в смысле творческом.

Нам необходимы подвиги, нам нужен почин. Очень часто мы безрассудствуем, мечемся из одной крайности в другую, очень часто даже погибаем; но во всех этих безрассудствах и колебаниях одно остается небезрассудным и неизменным – это жажда подвига. В этой жажде трепещет живое человеческое сердце, скрывается пылкий и никогда не успокаивающийся человеческий разум. Не смирать и охлаждать следует эту благодатную жажду, а развивать и воспитывать.

Вам, вероятно, не раз случалось присутствовать в обществе людей взрослых и, по-видимому, даже почтенных, которые по целым часам разговаривают между собою, но из разговоров которых все-таки невозможно извлечь ничего, кроме: «так-то», да «помаленьку», да «полегоньку», да «тише едешь, дальше будешь». Увещания такого рода по большей части обращаются к юношам и имеют свойство приводить их в несказанное негодование. Вот эти-то тихо курлыкающие люди и суть те самые пустопорожние мудрецы, для которых все ясно как на ладони, но зато все и голо как на ладони. Представьте себе, например, такой случай: вдруг целый мир населяется подобными тихо курлыкающими мудрецами – что может из этого выйти?

Во-первых, вам, милым и умным детям, будет очень скучно, что вас занимают такими разговорами, в которых даже уцепиться ни за что нельзя; во-вторых, самая жизнь сделалась бы невозможной и, наверное, не замедлила бы протестовать. Не было бы ни открытий, ни изобретений; Америка была бы неизвестна, и вам не пришлось бы кушать печеного картофеля с свежим маслом, который вы так любите. Люди стали бы жить «помаленьку» да «потихоньку», то есть откладывали бы копейку к копейке, считали бы куриные яйца, писали бы отношения и предписания, а для чего они все это делают, для чего откладывают, считают, пишут – они, наверное, даже этого объяснить бы не сумели.

Конечно, эти тихо курлыкающие мудрецы, с которыми вам так часто случается встречаться в Петербурге, – далеко не то, что люди, сознательно предающиеся всеоправданию во имя исторической необходимости; но, говоря по справедливости, тут разница все-таки только в размерах и формах, а не в сущности дела. Одно явление смешнее, мельче, пошлее; другое серьезнее и крупнее; но в обоих – одно зерно, и это зерно то самое, которое незаметно подтачивает и подрывает жизнь.

Говорят, будто «помаленьку» да «потихоньку» есть самая удобная форма жизни, и потому есть полное основание дорожить ею. Но надо быть очень близоруким, чтобы не увидеть, что в этом суждении есть очень большой пропуск.

Можете ли вы сказать, что вам удобно обходиться без чтения, потому только, что у вас книг нет? Что вы удобно ограничиваетесь одною растительною пищею, потому только, что в месте вашего пребывания нет мяса или оно вам не по средствам? – Конечно, нет, и вы, милые дети, этого никогда не скажете, потому что вы в то же время и умные дети. Вы скажете: я ограничиваюсь растительною пищею потому, что не могу иметь мяса, но не только не считаю этого удобством, но, напротив того, вижу тут большое для себя лишение. Но ведь поймите же, что удобства, которые рекомендуются поклонниками теории «помаленьку» да «потихоньку», принадлежат именно к числу тех удобств, о которых я сказал сейчас. Это удобства неведения, лени и робости, с которыми легко уживается и дикий Полинезии, и бедный, скудоумный самоед, но которые, в сущности, составляют самое громадное и вопиющее неудобство.

Действительные и истинные удобства жизни достаются только подвигом и почином. Современный человек, обладающий самыми средними средствами, предъявляющий требования самые скромные, ни под каким видом не согласится добровольно возвратиться к той сумме удобств, которою пользовался во времена оны человек, обладавший некогда средствами, более нежели достаточными, и предъявлявший требования самые утонченные. Оказывается, что современный средний человек имеет под руками уже гораздо более жизненных удобств и приобретает их с гораздо меньшим трудом, нежели даже тот исключительный человек, который дорожил своими сравнительно скудными удобствами, как тяжело вырванною у жизни победою. Кто же дал современному человеку эти удобства? Кто даст их еще больше человеку будущего? Кто, как не человек подвига, бодрости и почина!

Вот и выходит, что иногда форма жизни, которая кажется нам самой удобной, на деле оказывается приносящей одни неудобства и лишения. Хорошо, по-видимому, живется дикому Полинезии, но в том-то и штука, что она не может служить образцом ни для кого, кроме подобных ему диких.

Поэтому, ежели вы видите человека, который с нетерпением относится ко всякой несправедливости, хотя бы она и не касалась его лично, который чужое горе считает своим собственным горем, чужую беду своею собственною бедою, которого горячее сердце откликается всякому доброму начинанию, всякому душевному слову, к телу которого близка не одна своя рубашка, но и рубашка ближнего, не спешите говорить про него: вот человек взбалмошный, строптивый и неучливый, который сует свой нос, куда его не спрашивают! Такие скорые заключения прилично выводить оставшимся за штатом регистраторам (за это, впрочем, они и наказываются ссылкой на необитаемый остров, как вы видели это из первого моего рассказа[3]), вы же, милые и умные дети, должны знать, что этот человек есть именно один из тех полезных и честных людей, отсутствие которых самым вредным образом отзывается на целом обществе, производя в нем оскудение добра. Нет нужды, что движения этих людей бывают нередко угловаты, что речь их обыкновенно резка, – вы должны снисходительно смотреть на эти, в сущности, ничтожные недостатки во имя добра, которое делают эти люди, во имя света, который они вносят в человеческую жизнь.

В добре вся сила жизни, в добре замыкается весь ее смысл. Итак, пускай регистраторы обзывают нас сварливыми и взбалмошными – мы знаем, что этими именами позорится горячее стремление к добру и горячее искание истины. Будем же беспокойными и строптивыми, но да не охладится в сердцах наших лучшее достояние нашей жизни – энтузиазм к добру и к истине.

ПРИМЕЧАНИЯ

В 1869 г. Салтыков начал печатать в «Отечественных записках» сатирический цикл «Для детей». Всего появилось шесть произведений: I. Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил. II. Пропала совесть. III. Годовщина. IV. Дикий помещик. V. Добрая душа. VI. Испорченные дети.

Подлинным адресатом салтыковского цикла «Для детей» является демократическая молодежь – те оппозиционно и революционно настроенные «дети», противопоставление которых либерально-дворянским «отцам» утвердилось в русском общественном сознании со времени романа Тургенева. К молодому демократическому читателю и обращены раздумья Салтыкова (выраженные им в жанре сказки, притчи, мемуарного лирического наброска и рассказа) о наиболее волнующих проблемах времени: об извечной покорности мужика, о революционной морали и аморализме старого миропорядка, о необходимости идейной стойкости в эпоху реакции.

Замысел не был полностью осуществлен Салтыковым, и цикл не получил отдельного издания. Рассказы I, II и IV вошли впоследствии в цикл «Сказок» (т. 8 наст. изд.).

Годовщина . Впервые – журн. «Отечественные записки», 1869, № 2. Поводом к написанию рассказа послужила двадцатая годовщина ссылки Салтыкова (арестован 21 апреля 1848 г. и отправлен 28 апреля по распоряжению Николая I прямо из помещения гауптвахты в сопровождении жандармского штабс-капитана Рашкевича «на служение в Вятку»). Салтыков обвинялся в усмотренных в его первых повестях «Противоречия» и «Запутанное дело» «вредном образе мыслей и пагубном стремлении к распространению идей, потрясших уже всю Западную Европу и ниспровергших власти и общественное спокойствие» 4.

Вспоминая вятские трудные настроения, Салтыков стремится передать молодому поколению выстраданные, по-новому осмысленные итоги собственного опыта, предостеречь от опасностей, подстерегающих юных протестантов во имя социальной справедливости в момент временного упадка духа, когда грозный «порядок вещей» представляется необоримым. Главная из этих опасностей – примирение с существующей социальной действительностью как исторической необходимостью, переход от стремлений изменить эту действительность к созерцательному «только объяснению» ее, граничащему с «всеоправданием».

Годовщина. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Салтыков доказывает историческую плодотворность «подвига и почина» – революционного дерзания и самоотвержения. Утверждение жизненного идеала активной переделки мира ведется на наиболее трудном и злободневном материале судьбы политического ссыльного, непосредственной жертвы «порядка вещей».

Как и другие произведения Салтыкова этих лет, «Годовщина» звала «детей» к идейной стойкости, к верности традициям революционеров 60-х годов и утверждала «энтузиазм к добру и истине» в качестве подлинной основы человеческой красоты.

С. Д. Гурвич-Лицинер

Сноски

1 Сегодня мне сорок лет. – В действительности Салтыкову в 1868 г. исполнилось 42 года.

2 «О счастья с младенчества тоскую...» – Начальные строки стихотворения Баратынского «Истина».

3 ...как вы видели это из первого моего рассказа... – То есть из «Повести о том, как мужик двух генералов прокормил», которая первоначально открывала цикл «Для детей».

4 С. А. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М., 1951, стр. 291-295.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!